



ВО ВСЕМ ДОЙТИ ДО СУТИ

О новой повести В. Быкова «Карьер»

ШАГ ЗА ШАГОМ, метр за метром... Еще на лопату вглубь, еще на лопату в сторону...

В заросшем, заброшенном карьере — странный одинокий землекоп. Что ищет бывший старший лейтенант Агеев? Сорок-то с лишним лет спустя что можно сыскать? Если его Марию убили здесь? Что? Туфельку с ее ноги? Ее белые косточки?

Что-то абсурдное есть в этих раскопках. И это — Василь Быков? Где знаменитая железная логика его сюжетных обстоятельств, срабатывающих с цепкостью капкана? Или то — на войне, а здесь мирные дни, и старый человек волен делать, что ему заблагорассудится?

Именно так. Разрешим старому человеку мучиться памятью, мучиться мыслью и совестью — безумствовать. А капкан обстоятельств на агеевской дорожке сработал в свое время крепко — об этом Быков тоже расскажет. Иначе откуда бы это безумство, эти горькие, прощальные поиски прошлого?

Выходит, опять Василь Быков — про войну? Опять. Но если вы читаете этого писателя давно, то заметите, что в «Знаке беды» и в «Карьере» — новый Быков. Абсолютно узнаваемый, даже в чем-то («Карьер») повторяющий себя, но — новый. Еще с «Сотникова», «Обелиска», с «Волчьей стаи», с «Пойти

Василь Быков. «Карьер». Повесть. Перевод автора. «Дружба народов». 1986, № 4—5.

и не вернуться» в его творчестве нарастало то, что он однажды назвал «трагедией оккупированных территорий». Все больше становилось в его повестях той жизни, что затаилась в белорусских хатах под гнетом войны и угрозой уничтожения, стараясь спастись и защититься. Все настойчивее он рассматривал происходящее с людьми как продолжение предвоенного пути, как его психологические и нравственные следствия.

Новый Быков — это Быков, обращенный к народной жизни, и в «Знаке беды» это, по-моему, очевидно. В «Карьере» судьба окруженца Агеева — вроде бы вариант сотниковской судьбы, но она теснее сплетена с участью других людей и ни в чем никому не противопоставлена. Здесь не сняты, как это сделала Лариса Шепитько, восхождение героя-страдальца на Голгофу (фильм «Восхождение» по «Сотникову»); здесь более сложное понимание героического поведения или героического удела. Это, скорее, что-то обыденное и произвольное, чем исключительное и обдуманное. В Сотникове было молчаливое учительство и даже вызов: так надо жить и умирать. Осенью сорок первого года раненый Агеев, укрытый в доме попадьи Барановской, вдруг почувствует себя учеником жизни. Он словно бы шагнет в бесконечно ясный, правильный мир с какого-то другого хода, и мир этот вмиг утратит свою чрезмерную ясность и правильность.

Подумать только: его спасла

вдова классового врага, какая-то еще дореволюционная «народная учительница», о которых он слыхом не слыхивал, спасла, вместо того чтобы выдать, и это становится важнейшим свидетельством какой-то подлинной, драматической, противоречивой жизни, о которой он не знал ничего. Агеев обнаружит в людях, в их образе мысли и судьбах не просто неизвестную, скрытую правду, но — сложность, настоятельную, удивляющую и в то же время приучающую к какому-то новому зрению на окружающую жизнь. Еще немного, и Агеев почувствует, что отныне сам опутан той же сложностью, и теперь в его собственной судьбе тоже непросо разобраться... Да и не признает он ни за кем права в ней разбираться!..

Давно, в «Обелиске», прозвучали слова, которые вполне мог бы повторить Агеев — о себе ли, о Барановской, о Кислякове, не выдержавшем пытки, о Семене Семенове, мученике войны, единственном человеке, не осудившем его старческой возни в карьере... Вот те слова: «Для вас все загода ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот».

Поистине так: забыть о судьбе Агеевых, Барановских, Семеновых, Кисляковых — намного бы проще жилось. Не реальная история народа была бы позади, а героическая легенда. Пафос

сложности стал сквозным в быковском творчестве и от повести к повести нарастал. Он, быть может, не нарастал бы так заметно, если бы не было настоятельной нужды противостоять, кажется, бессмертному пафосу упрощения. Агеев видит, что реальность выламывается из всех прижогленных, заученных о ней представлений, и не сразу, но усваивает единственно честную точку зрения: изнутри событий, из самой их глубины. «Всегда удобно судить со стороны, — думает он, — там же под дулами автоматов все, наверное, было сложнее... Тот, кто судит со стороны, всегда судит умнее, но честнее ли — вот в чем вопрос».

Легко обвинить Агеева в том, что он растерялся и, как начинающий подпольщик, многое делал неверно. Он и Марию мог бы уберечь. И подписку о сотрудничестве с полицией мог бы не давать. И так далее.

Но писатель хочет, чтобы мы не очень-то «умничали», а попробовали бы стать с Агеевым ровень и рядом именно тогда, осенью сорок первого года... Даже самое страшное и коварное жизнь умеет перерабатывать в обыденнейшую обыденность, и тем труднее Агееву выкарабкаться из ее вязких, двусмысленных обстоятельств. Мог ли он предположить, что самым отчаянным его переживанием, в сущности, сгубившим Марию и его товарищей, станет страх недоверия. Агеев чист, винны никакой, проклятая подписка о сотрудничестве — всего лишь прикрыtie, но искра подозрения

уже мелькнула, рефлекс недоверия где-то в ком-то сработал, и воображение старшего лейтенанта всего лишь доделывает дело, ввергая его едва ли не в панику... Агеев у Быкова умел, и ему хочется понять, почему так легко образуется недоверие к людям. Наверное, рассуждает он, думать и предполагать в этом направлении «привычнее», «проще», а возможно, и «практичнее, дальновиднее». Но если в самом деле «дальновиднее», то «как же тогда его человеческая судьба? Или в такой обстановке одна судьба ничего не стоит? Так сколько же тогда судеб чего-нибудь стоят? Сто? Тысяча? Десять тысяч?»

Непростые, неустаревшие, даже насущные вопросы. И нестерпимый горек агеевский ответ: «Нет, видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять тысяч. Таков уж элементарный закон арифметики... У войны свои, далеко не человеческие законы, и они будут править людьми, пока будут войны».

Агеев задумывается над ничтожной малостью своей жизни. Действительно, если быть «дальновидным» и на все сто процентов исключить риск, то с нею можно не считаться. Ею можно пренебречь. Но кому — можно? Какой взыскивающей силе? И почему та сила убеждена в своем праве взыскивать и в долге других, таких, как он или Мария, платить? Да и в самом фатализме слов «пока будут войны» нет ли какой-то собственной агеевской слабости, чрезмерного нравственного компромисса?

Не забудем: по отношению к Марии Агеев сам оказывается взыскивающей силой, и рассказываться ему, и казнить себя — до конца дней.

Наверное, незачем было писа-

телю объяснять нам, что Агеев решал правильную задачу (скорее доставить взрывчатку), но средства (послал Марию) выбрали ужасные. Суть случившегося лишь в малой степени касается проблемы цели и средств.

Смысл повести во многом проясняют слова, которыми она закончена: о людях, с рождения обреченных «давать», и о тех, «кто научился лишь брать и взыскивать». Это не значит, что героев нужно срочно рассортировать на тех и этих. Такая сортировка с представленной сложностью жизни справится лишь частично. Если и пробилась однажды через Агеева темная «взыскивающая» сила, то принесла ему только несчастье. Сила эта в повести присутствует скорее как некая историческая составляющая: и нет ее вроде бы, и она — повсюду. Особенно это чувствуется в рассказах Семена Семенова, в его трагической судьбе. Образ этого рабочего человека, бывшего полицая, партизана, фронтовика, заключенного, — открытие писателя. В этом образе такой уровень сложности — не характера, но миропонимания, а всех выпавших на долю мытарств, — что поневоле вспоминишь: не судите — не судимы будете. За Семеновым, как, впрочем, и за Барановской, за немецкими прислужниками Ковешко и Дрозденко, та часть нашей исторической жизни, которую литература сторонилась или истолковывала упрощенно.

Василь Быков опять говорит с нами о серьезных вещах. Он докапывается до них... Шаг за шагом, вершок за вершком, от повести к повести он пробивается к полной и объективной правде о времени и людях. Он убежден, что такая правда в наши дни особенно необходима.

Игорь ДЕДКОВ.